

## БЕДНЫЕ ЛЮДИ!<sup>1</sup>

– А она... ну, вот и они-то... девушка и старичок, – шептала она, продолжая как-то усиленнее пощипывать меня за рукав, – что ж, они будут жить вместе? И не будут бедные?

– Нет, Нелли, она уедет далеко; выйдет замуж за помещика, а он один останется, – отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее.

*«Униженные и оскорбленные»*

– «Бедные люди»? Слезоточивый задор этой старомодной, невинной вещицы бесхитростен, как ее название. Бедная Лиза, укутанная в гоголевскую шинель. Дескать, и чиновники любить умеют. И под крышами Петербурга живут мучительные сны. И на черных лестницах от судеб нет защиты. И до чего же скaredно платят в России за труд, и как безутешно плачет неудачник... Жалобный дуэт флейты и тромбона в замызганном дворе в двух кварталах от Фонтанки. Торопливые переговоры надломленной швейной иглы с пером канцелярским, гусиным, истертым.

Она ему:

– Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить.

А в ответ:

– *Спешу вас уведомить, друг мой, что Ратазиев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись – слава Богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться; требуют поскорее...*

Человеколюбивое, одним словом, сочинение. Маленько скучноватое в своей честной бедности. Два голоса жужжат из такой уж густой паутины, что трогательнейший в мире слог не спасет; без надежды, без тайны – что за роман?

Одна дама в 1846 году, весной, так и сказала профессору Никитенко – в ее гостиной он увидел на столике «Петербургский сборник», разрезанный как раз на середине «Бедных людей»:

– Плачу, а дочитать не могу!

«Содержание «Бедных людей» так просто, так просто, – разводил руками Аполлон Григорьев, начинающий рецензент, но будущая знаменитость, – что только с слишком большими силами можно было отважиться на трудный подвиг развить из этого бедного содержания целую внутреннюю драму...»

Простое содержание, бедное. Простая повесть о бедных людях. Бедный сюжет о простых существах и чувствах. Таков был общий глас. И самый сильный критик только и сумел, что обрвать вздох упрека в восклицание восхищения:

«Посмотрите, как проста завязка в «Бедных людях»: ведь и рассказать нечего!»

Это даже и слишком. Кто-нибудь, у кого достало бы досуга и терпения перечитать роман, рискнул бы, пожалуй, на возражение. Можно ли назвать простой завязкой странный, отчаянный, фантастический поступок? Убогий копиист, из тех, что исхитряются в Петербурге существовать на 400 рублей в год жалованья, из тех самых, кому новая шинель (неправду, что ли, написал Гоголь?) заменила бы личное счастье и смысл жизни, некто из тьмы Башмачкиных, облезлая канцелярская крыса, – похищает и берет на содержание – точно офицер какой-нибудь гвардейский, точно ротмистр Минский из повести Пушкина «Станционный смотритель» – барышню семнадцати лет; лжет ей о каких-то своих капиталах в ломбарде; осыпает подарками, проматывая на конфеты и цветы выпрошенное вперед жалованье чуть ли не будущего года; в театр водит! – на наших то есть глазах улетает в пропасть, не отпуская Варенькиной руки, да еще изо всех сил улыбаясь, – и эта завязка, по-вашему, чересчур проста?

<sup>1</sup> Из книги «Такой способ понимать» – см. «Зарубежные записки» № 14 (2/2008).

С какой тревогой девочка пытается угадать: что происходит? Этот смешной человек, будто бы родственник – седьмая вода на киселе, но в сущности третий встречный, – какое будущее он для нее придумал? Не отпустил в гувернантки – отговорил наотрез от единственного, чудом блеснувшего шанса (неверного, правда) прожить без него. Стало быть, уверен, что не даст ей погибнуть – ведь не играет же он ею, ведь это было бы злодейство, а он такой добрый...

Из этого-то сюжета выводите вы, г-н Первый Критик, пресноватую, действительно немудрящую – хоть и гуманную – мораль:

«Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это тоже люди, ваши братья!»?»

Значит, так тому и быть. Вам виднее. С остальных и спрашивать нечего.

Первый роман Достоевского прочитан Россией в слезах и впопыхах, как история слишком душещипательная, чтобы можно было в ней заподозрить непрозрачную глубину. Все так просто, так бедно. Новые похождения Башмачкина. Вторая заварка, так сказать, – а рецепт полезный.

Но перечитывать, когда слезы просохли, – с какой же стати?

«В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о "Бедных людях". Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же мы, друг мой, с Достоевским – гением!.. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате!..»

Для всех – поначалу даже для Вареньки, не говоря уже о начальнике департамента, – Макар Девушкин – второй Башмачкин. И должность, и наружность, и манеры – все точь-в-точь. Он и сам, прочитав «Шинель», вынужден признать, что сходство полное.

И впервые в жизни запивает горькую.

Тут, правда, и обстоятельства подошли скверные, но что повесть Гоголя оскорбила Девушкина и огорчила донельзя – никакого сомнения. Конечно, можно и так объяснить, что истина показалась ему невкусна (как в кабинете Его Превосходительства: «Я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел»). Однако чем же Самсон Вырин, скажем, презентабельней, станционный-то зритель (огражденный своим чином только от побоев, и то не всегда, замечает Пушкин), – а в нем Девушкин чуть не с ликованием признает родного брата:

*«...а это читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подобно – вот как!»*

Не от зеркала самолюбию больно; а от взгляда чужого свысока. Вся жизнь Макара Алексеевича проходит под этим взглядом – так смотрят на него все и каждый, то есть он и ждет от всех и от каждого, что на него так посмотрят, – хотя ни за кем не признает ни малейшего права на этот мимолетный луч пренебрежения. Гордость и мнительность, да. Но мнительность небезосновательная: человеку смеются в глаза: «Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев, сторож, сказал, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная», – как же ему не опасаться ухмылки невидимой, насмешки заочной, даже от незнакомых – от господина Быкова, например? Вот Варенька пишет:

*«Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; все рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: "Какой же это чиновник, который с вами знаком?" На ту пору вы через двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся...»* (Читал, наверное, повесть Гоголя «Шинель» господин Быков.)

Из-за таких-то усмешек и чувствует Макар Девушкин, что он вроде как букашка под огромной лупой и за каждым его попользованием внимательно наблюдает чей-то холодный, немигающий, злорадный зрачок, – и повесть «Шинель» вдруг подтвердила нестерпимую догадку!

*«Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, – каков уж он там ни есть – жить водой не замуля, по пословице, никого не трогая, зная страх Божий, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались, да не подсмотрели, – что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?..»*

Как человек простодушный, Девушкин даже и не сомневается, что Башмачкин списан прямо с него. Как человек самолюбивый, взбешен, что столь тщательно им охраняемые унижительные тайны личного бюджета и гардероба рассказаны во всеуслышание – допустим, что с сочувствием,

— какая разница для человека, ни за что на свете не согласного быть смешным! — ему ли не знать, как эти подробности забавны, особенно вчуже.

Но и это еще далеко не вся обида. Главное — что гордость уязвлена. Чем обстоятельней внешнее сходство, тем очевидней для Макара Алексеевича, что его оболгали, опошлили, подменили двойником! Посторонние этого не увидят — где там! — если даже Варенька сбита с толку... Посторонние скажут о Макаре Алексеевиче словами критика, профессора и цензора Никитенко: «Этот маленький чиновник, этот бедняк, которому общество не может уделить более благ, как сколько следует существу переписывающему» (высокомерно-низкие слова! Профессор и цензор, несомненно, полагал, что сам-то стóит куда дороже). Это о нем — о Девушкине! Как будто это он — двойник Башмачкина! Посторонним-то все равно. Чего доброго, так и подумают.

Тоже переписывающее существо, тоже человек... Девушкин не умеет выразить, чем привело его в гнев и отчаяние такое явственное, но такое мнимое тождество. И неизвестно, поняла ли хоть впоследствии Варенька Доброселова, насколько был он прав, — если прав.

Кому и понять, как не ей: не повстречай ее Макар Алексеевич (в Спасской церкви, я думаю, что на Волковом кладбище, — где же еще?) — никогда и ни за что не узнал бы, что он — не Башмачкин. Так Башмачкиным и помер бы.

Они ведь и точно похожи, как близнецы. Только Акакий Акакиевич — счастливый человек, а Макар Алексеевич — несчастный.

Ну, и еще имеется несколько различий, столь же незначительных. Например: Башмачкин никого не любит, а Девушкин...

До революции (Великой Октябрьской социалистической) принято было считать, что «Бедные люди» — история отнюдь не о любви. Из рецензентов по крайней мере половина изловчилась вообще обойтись без этого слова, другая — окружила его самыми осторожными определениями.

«Два лица в высокой степени интересные, — говорит высокодаровитый Аполлон Григорьев о герое и героине романа, — просветленные... пожалуй, одно своим человеческим чувством любви и сострадания, другое своим страданием, своей христианской покорностью...»

Бесталанный Никитенко прибегает к точно таким же оборотам, только в другом порядке — и страшно запутывается, — но все-таки тоже доводит до сведения читателей, что ни Макар Алексеевич, ни тем паче Варенька ни о каких непопустительных отношениях и не помышляют:

«В характере чиновника выражена та истинно христианская любовь простой души, которая несет крест свой, как долг; для него жить и страдать значит одно и то же; он и не подозревает, что в глубине его души таятся те же силы, которые могли бы его повести по пути борьбы, могли бы, может быть, увенчать его венцом победы, но, вместе с сознанием этих сил, могли бы показать ему и тщету его любви, потому что не любят уже того, чего принуждены опасаться и что бесплодно стоило нам самой теплой и свежей крови сердца».

(Видимо, последнюю фиоритуру надо понимать так, что г-н Быков не мог не внушить обесчещенной им девочке отвращения к мужчинам. Допустим. Но как из этого следует, что чувство Макара Алексеевича тщетно — истинно христианская-то любовь? Просто Бог знает что!)

Только два критика — Первый и Второй, Белинский и Валериан Майков — решились признать, что герой в героиню все-таки влюблен, — впрочем, не совсем по-настоящему и, разумеется, совершенно безответно.

«Автор не говорит нам, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать сострадание, или сострадание родило в нем любовь к этой девушке; только мы видим, что его чувство к ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокого старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтоб не возненавидеть жизни и не замереть от ее холода, и которому всего естественнее полюбить существо, обязанное ему, одолженное им, — существо, к которому он привык и которое привыкло к нему. Нет, в чувстве Макара Алексеевича к его «маточке, ангельчику и херувимчику Вареньке» есть что-то похожее на чувство любовника, — на чувство, которое он силится не признавать в себе, но которое у него против воли прорывается наружу и которое он не стал бы скрывать, если б заметил, что она смотрит на него не как на вовсе неуместное. Но бедняк видит, что этого нет, и с героическим самоотвержением остается при роли родственника-покровителя».

Остается-то он остается, Виссарион Григорьевич, — да ведь роль фальшивая. Вас умиляют «эти отношения, это чувство, эта старческая страсть, в которой так чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка», — но ведь очень скоро Вареньке предстоит выбирать: на па-

нель или в канал – потому что не прожить рукоделием в Петербурге, и в услужение не возьмут – понятно почему, – а какая погоня за несчастной девушкой, какая свора бежит по следу! – и вся-то была надежда на всегдашнего и верного друга Макара Девушкина, на вечного, неизменного друга, на истинного друга, на сердечного доброжелателя – так он подписывается, – и разве он не подал ей надежду?

Попреки в сторону: обман открылся и прощен – как безрассудство без памяти влюбленного прощен, а также потому, что без этого обмана решать: на панель или в канал – пришлось бы еще в апреле. Но теперь, в половине сентября, – неужто нет иного выбора? Неужто ничем, совершенно ничем не в силах помочь достойный друг, душевно преданный? И ни вина не терзает его, ни предчувствие? Доволен собой, как Первый Критик им доволен... уж не сделался ли сно-ва Башмачкиным?

*«Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера ка-ялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве... Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой! Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко наведуясь. Прощайте же, ангельчик, прощайте!»*

Варенька в ответ извещает о появлении г-на Быкова и передает разговор с ним Федоры:

*«...что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастье мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру...»*

Макар Алексеевич – как и всякий раз, когда ему послышится тягостный вопрос, под конец этого письма действительно произнесенный: *«Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба?»* – выдерживает паузу, а затем, ни слова не отвечая, впадает в повествовательный тон; очень недурным, выработанным уже слогом описывает скоропостижную смерть соседа по квартире, пожилого женатого чиновника Горшкова, заключая свой рассказ хоть и тривиальной, а все же несколько неожиданной сентенцией:

*«Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь... Погибаешь этак ни за что...»*

А еще через пять дней, читая в Варенькином письме, что она согласилась выйти замуж за Быкова, что все решено навсегда, – возможно ли, чтобы он и в эту минуту, и в этом письме не расслышал ни упрека, ни безнадежной мольбы?

*«Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастья в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы?»*

*«Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой, что делать? Из чего вы-бирать мне?»*

И под конец:

*«Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ва-ши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце все, что принудило меня так поступить».*

Возможно ли, чтобы влюбленный человек, получив такое письмо, не знал, что ему делать? Достоевский сам, как видно, еле сдерживает негодование – и обходится с Девушкиным сурово: заставляет высказаться до дна. И сквозь жалкий, слащавый, растерянный лепет проступает со-вершенно отчетливо одна-единственная мысль:

*«Только вот как же мы будем теперь письма-то друг к другу писать? Я-то, я-то как же один останусь?»*

Проговорился – спохватился – бормочет поспешно:

*«Я, ангельчик мой, все взвешиваю, все взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то моем все это взвешиваю, причины-то эти...»*

Но автор не дает увильнуть, и нельзя не повториться:

*«Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь?»*

Что ж. Он ничего не присочинял, уверяя, будто ею только и живет. Он, Девушкин Макар Алексеевич, и сейчас на любую жертву ради нее готов. Сколько раз уклонялся – или даже отчи-тывал, – когда Варенька звала его к себе, а сегодня сам, не ожидая просьбы:

*«Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу...»*

Так, бессмысленными завитушками, скрепляет Макар Алексеевич приговор своей Вареньке и себе.

Надо отдать справедливость Белинскому: он единственный позволил себе вслух задуматься – отчего бы Девушкину не взять Вареньку замуж? Ответ оказывается такой:

«...По тесноте и узкости его понятий он мог бы навязать себя Вареньке в мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убеждению, что никто, как он, не может так любить ее и всего себя принести ей на жертву; но от нее он не потребовал жертвы: он любил ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для ней всем – было для него счастьем».

Натяжка очевидна. Так можно рассуждать, лишь зная наверное, что г-н Быков явится в надлежащее время. Но Макару-то Алексеевичу откуда это известно? Он ведь этого романа не читал...

Кстати: мы согласились, что завязка проста, – но отчего же развязка так печальна? Все ведь оканчивается на удивление благополучно, во всяком случае, благопристойно. Варенька выходит за того самого, кто погубил ее честь, а от чахотки разве не лучше умереть помещицей, чем проституткой? Девушкин переедет в комнатку посветлей – разве не довольно ему связки писем да томика повестей Белкина, чтобы не спиться с кругом? Что же оба так стенают и отчаиваются, надрывая читателю сердце? Можно подумать, что и он, и она всерьез предпочли бы погибнуть вдвоем – под забором, например, замерзнуть, обнявшись. Ведь это же не так, правда?

Мы видим: вздумай Девушкин сделать Вареньке предложение – даже Белинский не одобрил бы. Все сочли бы такую затею нелепой, безвкусной и неприличной – словом, смешной.

Прежде всего – эстетическое чувство страдало: чижик – и крыса! Да к тому же крыса-то, что ни толкуйте, влюблена!

«Само собой разумеется, – полагает Валериан Майков, – что любовь Макара Алексеевича не могла не возбуждать в Варваре Алексеевне отвращение, которое она постоянно и упорно скрывала, может быть, и от самой себя».

И прибавляет, как искушенный сердцеведец (ему, кажется, года двадцать три, но ведь настоящие критики не живут долго):

«А едва ли есть на свете что-нибудь тягостнее необходимости удерживать свое нерасположение к человеку, которому мы чем-нибудь обязаны и который (сохрани Боже!) еще нас любит!»

Вы недоумеваете? Да просто-напросто он стар, этот Макар Алексеевич. Непорочно, позорно стар, а туда же – про поцелуй какой-то вспоминает. Хорошо хоть самому совестно: «на старости лет с клочком волос в амуры да в экивоки».

Сам же говорит:

«...Было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет служебному моему поприщу...»

Это значит, что юбилей предыдущий – двадцатипятилетний – промелькнул не вчера, и Девушкину давно уже не сорок два – правда, и не более сорока шести. Допустим, что и поменьше: «вот уже скоро» – это все-таки не завтра; в ближайшем будущем улучшения своих обстоятельств Макар Алексеевич явно не ожидает, а ведь награждение чином за выслугу лет или хотя бы прибавка к жалованью в тридцатилетие карьеры – не такая уж несбыточная мечта; видно, рано загадывать. Но как ни считай, все выходит, что Девушкину лет этак сорок пять или около того. Комический старик в роли героя-любownika!<sup>2</sup> Родился в конце прошлого века, А.С. Пушкину, между прочим, ровесник,<sup>3</sup> – и вот, извольте видеть, влюблен...

<sup>2</sup> В 1839 году, вышучивая чей-то безымянный и бездарный водевиль, Белинский разбивает автора в пух вот какой выкладкой: «Интересно знать, каких лет был мужчина, которого любят две женщины – мать и дочь. Матери не могло быть меньше 35 лет, а если барон предпочел ее дочери, то и он, вероятно, был человек пожилой; в таком случае, как же полюбила его молоденькая девушка? Извольте после этого поставить на сцене такой водевиль!»

<sup>3</sup> Время «Бедных людей» навсегда останавливается 30 сентября 1844 года; это число выставлено на письме Достоевского, в котором сказано: «Я кончаю роман. Я уже его переписываю». 30 сентября Вареньку Доброселову венчают с г-ном Быковым. Я думаю, прощальные письма Вареньки и Макара Алексеевича – или хотя одно ее письмо – сочинены именно в этот день, вернее всего – под утро, на рассвете: Достоевский уже тогда работал по ночам.

Прав Белинский, прав Майков: что-то есть отталкивающее в старческой страсти. Бедная Варенька! (Но г-н Быков разве моложе Девушкина? – Это не обсуждается. И потом: Быков не требует ведь любви – поэтому скорее страшен, чем противен.)

Середина сороковых. Тутчев еще не знаком с Денисьевой – она еще пансионерка – и не написал стихов о блаженстве и безнадежности. Но и еще через двадцать лет – как робко и долго, какими наивными обиняками станет допытываться автор «Бедных людей» у двадцатилетней стенографистки: что сказала бы девушка в ее возрасте, если бы пожилой – вроде него – человек просил ее руки?..

Советские люди, читая «Бедных людей», о возрасте Девушкина думали меньше всего. Сомневаться в том, что героев связывает взаимная любовь, а разлучает бедность, не рекомендовалось. Как вышло, что при такой любви расстаться навсегда оказалось легче, чем бедствовать вдвоем, – никого особенно не занимало.

Полагалось помнить, что Белинский будто бы сказал однажды Анненкову о «Бедных людях»: это первая попытка у нас социального романа; что Достоевский будто бы сказал однажды кому-то – какому-то иностранцу: все мы вышли из «Шинели» Гоголя; что за чтение письма Белинского к Гоголю в кружке социалистов автор «Бедных людей» был приговорен к смертной казни... А сюжет «Бедных людей» разбирали в учебниках и пособиях вкратце и слегка:

«Конец романа печален: Вареньку увозит на верную погибель грубый и жестокий помещик Быков, а Макар Алексеевич остается в безутешном горе...»

Великая вещь – слог! Было бы написано: Варенька стала госпожой Быковой и уехала с мужем в его имение, – разве министерство просвещения утвердило бы такой учебник? А ведь все правда: Быков груб, и отбыл из Петербурга вместе с Варенькой, и вообще в царской России помещики вытворяли с бедными людьми что хотели.

Так учили детей. Взрослым развязку романа – и сцепление событий, ведущих к развязке, и спор бедных душ, ею оборванный, – пересказывали витиевато:

«Лейтмотив повести – духовная связь благородных и скромных людей в жестоких условиях современного строя. Взаимное влечение Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой подвергается испытаниям безжалостного миропорядка (Слушайте, слушайте! – С. Л.); мечтательницу-девушку, уже запроданную богатому сладострастнику, отдают теперь навсегда в его полную собственность...»<sup>4</sup>

Попросту говоря, в эпоху так называемого Застоя, вплоть до начала так называемой Перестройки, официальная – то есть единственная – версия объясняла развязку романа финансовым положением Девушкина. В царской России бедные чиновники не могли себе позволить – не имели ни малейшей возможности – жениться на бесприданницах, слишком трудно при самодержавии женатому человеку, если он не помещик и не генерал, – вот какой безжалостный господствовал миропорядок.

Аксиома сама по себе внушительная. Никто, кажется, не пробовал подкрепить ее математическими расчетами, а зря. Вот, например, Белинский осенью 1843 года втолковывает своей невесте:

«...Нам с Вами на стол, чай, сахар, квартиру, дрова, двоих людей, прачку и пр. никак нельзя издерживать менее 250 р. в месяц или 3000 в год: так нельзя же, чтобы столько же не оставалось у нас на платье и разные непредвиденные издержки».

Как мы знаем, и эта цифра – 6000 в год – оказалась заниженной: положившись на нее и вступив в законный брак, великий критик утонул в бедности.

А у Девушкина жалованье не то 40 рублей в месяц, не то 50. Где уж ему жениться. Какое там! С его стороны это, можно сказать, благоразумный и благородный поступок – отдать Вареньку господину Быкову.

В 1854 году в Семипалатинске Достоевский – рядовой Сибирского линейного батальона – влюбился в жену одного чиновника. Затем чиновник этот, по фамилии Исаев, уехал с семейством

<sup>4</sup> Как хорош и как важен тут этот оборот с неопределенно-личным сказуемым: отдают, видите ли! Идеология только так и поддерживает свое существование: обволакивая присвоенные ею ценности непроницаемой скукой.

в Кузнецк – и там умер. Вдова «осталась на чужой стороне, одна, измученная и истерзанная долгим горем, с семилетним ребенком и без куска хлеба». Она была молода и красива, к ней сватались.

«Беденькая! Она измучается. Ей ли с ее сердцем, с ее умом прожить всю жизнь в Кузнецке Бог знает с кем. Она в положении моей героини в "Бедных людях", которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)».

И точно: эта история до странности похожа на роман Достоевского.

«Пишет, что любит меня больше всего на свете, что возможность выйти замуж за другого еще одно предположение, но спрашивает: "что ей делать?" <...> Что если ее собьют с толку, что если она погубит себя, она, с чувством, с сердцем, выйдя за какого-нибудь мужика, олуха, чиновника, для куска хлеба себе и сыну <...> Но каково же продать себя, имея другую любовь в сердце. Каково же и мне?»

Автор, очутившись на месте персонажа, не пожелал разделить его участь. Правда, если бы не произвели его в прапорщики, ничего бы не вышло.

«Но теперь, тотчас же после производства, я спросил ее: хочет ли она быть моей женой, и честно, откровенно объяснил ей все мои обстоятельства. Она согласилась и отвечала мне: «Да». И потому наш брак совершится непременно».

«Я уверен, ты скажешь, что в 36 лет тело просит уже покоя, а тяжело навязывать себе обузу. На это я ничего отвечать не буду. Ты скажешь: "Чем я буду жить?" <...> Но знай, мой бесценный друг, что мне надо немного, очень немного, чтобы жить вдвоем с женой. <...> Она знает, что я немного могу предложить ей, но знает тоже, что мы *очень* нуждаться никогда не будем; знает, что я *честный* человек и составлю ее счастье. Мне нужно только 600 руб. в год».

Расчет, как мы знаем, безусловно ошибочный. Но зато вот какое соображение представляется неотразимым – и невзначай разбивает вдребезги практичную, мещанскую, советскую трактовку сюжета «Бедных людей»:

«Ты скажешь, что, может быть, заботы мелкие изнуряют меня. Но что же за подлец я буду, представь себе, что из-за того только, чтоб прожить, как в хлопочках, лениво и без забот, – отказать от счастья иметь своей женой существо, которое мне дороже всего в мире, отказаться от надежды составить ее счастье и пройти мимо ее бедствий, страданий, волнений, беспомощности...»

Бывала, выходит, и в николаевской России любовь сильнее бедности – не так ли?

...Занятно было бы также узнать, каким образом согласуется с вышеозначенной аксиомой – насчет чиновников и бесприданниц – история женитьбы Мармеладова на Катерине Ивановне.

Двадцать три рубля с копейками в месяц положили ему в петербургском департаменте, и навряд ли в провинции, где встретил он ее – вдову с тремя детьми, – платили много больше. Но она была еще несравненно бедней – нищая безнадежно.

«И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку мою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание».

Не счастья искал и осчастливить не надеялся. И вряд ли не сознавал, что не только никого не спасет, а скорее всех погубит, что при его достатках дай Бог собственную дочь не отпустить в темноту, а участь чужой вдовы как бы даже и честней предоставить провидению (какому-нибудь г-ну Быкову), – а не смог, не выдержал: сострадание – такая мучительная, такая неотступная страсть.

А наш Макара Алексеевич отступился.

Неужто из малодушия? Но ведь несомненно, что умер бы он за Вареньку с восторгом, в любую минуту, и что умрет от тоски по ней все равно, и что сам очень хорошо это знает.

И потом, будь он малодушный, да просто рассудительный человек – романа бы не было. Авантюра, с которой все началось, обличает в Девушкине характер отчаянный до легкомыслия.

Заметьте, ведь это безумство с Варенькой – не первое в его жизни. С таким же пылом «врезался» много лет назад юный Макара в модную актрису, хотя видел ее только на сцене, и всего-то разок, и то даже не видел, а слышал с галерки.

«Так как вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал – уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким

*образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал: замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило!»*

Анекдот смешной, и рассказан кстати — по дороге из театра, — и Варенька еще не знает о забранном вперед жалованье, — а, должно быть, припомнилось ей самое первое после переезда на новую квартиру письмо Макара Алексеевича — донельзя игривое, наивно-развязное, с невозможными стихами; шалуньей величал и пальчики целовать грозился.

Видно, не померещилось тогда ни ей, ни нам — ни ему самому, — что он просто-напросто закутил, завел интрижку, обзавелся тайным адресатом, личным ангельчиком (как сосед-мичман — очередным чижигом, не заботясь о том, что в здешнем воздухе чижики так и мрут) — и в восторге от своей изобретательности, а до чужой тоски ему и дела нет:

*«Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску — значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! Подымете — значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали...»*

Как же разобиделся он на нее — как разозлился на себя, — поняв, что сваял дурака: вместо куклы напрокат, вместо пташки еле одушевленной, «на утеху людям и для украшения природы созданной», поселил в окне напротив существо, способное на ответный пристальный взгляд!

Тотчас отступил, приосанившись как мог величаво, и злорадный выговор закатил: как это, дескать, угораздило вас, Варвара Алексеевна, принять невиннейшие стихи («*Зачем я не птица, не хищная птица!*») за намек на какое-то якобы чувство? Ошиблись, голубушка!

*«Отеческая приязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна...»*

И видеться отказался иначе как в церкви: «*это будет благоразумнее и для нас обоих безвреднее*».

Казалось бы, очнулся, и переписываться больше не о чем.

Но Варенька заболела — чуть не месяц в беспамятстве, не отдавать же в больницу, и без присмотра не оставишь, а лечение дорогое, — вицмундир пришлось продать, а что Макар Алексеевич похудел — так это клевета:

*«...здоровехонек и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло; вот только вы бы-то выздоравливали!»*

И опять в конце письма: целую все ваши пальчики, — но слышно, что это не бесцеремонность, а нежность.

Запнувшись — нарочно? — на первом шагу, роман вновь устремляется вперед, к неизбежной, непонятной развязке.

Малодушной расчетливостью героя — или героини — ее не объяснишь, не такие люди.

Не так давно высказана — и уже распространилась — мысль, что Валериан Майков-то угадал: Варенька не любит Девушкина и покидает его без сожаления, и он сам в этом виноват. Не особенно симпатичная личность: эгоист и мелкий тиран. В любви бестактен и небескорытен: хвастанет благодарениями, напрашиваясь на благодарность и похвалу. Да и что это за любовь, если разобраться: «...при отношениях неравенства, при тех отношениях, когда один любит и благодетельствует, а другой благодарит и любит, нет и не может быть на самом деле никакой любви».

Для чего же пролито в этом романе столько чернил и слез? А чтобы современники Достоевского поняли:

*«...Та логика общей социальной структуры (структуры неравенства), которая, отражаясь в сознании и чувствах отдельных людей, формирует их большую амбициозную психологию, эта же логика действует и в частных отношениях людей, извращая самое святое и бескорыстное чувство — чувство любви. И оно вместо того, чтобы роднить и связывать людей, их разделяет».*<sup>5</sup>

В общем, получается, что, начитавшись Фурье, автор «Бедных людей» хотел запечатлеть психологические последствия эксплуатации человека человеком — в искаженных лицах Макара Алексеевича и Вареньки.

<sup>5</sup> Логика социальной структуры (структуры неравенства) извращает любовь... Это вам не старая песня о безжалостном миропорядке: та все же оставляла какому-нибудь Ромео или Вертеру некий шанс.



А они, глупые, знай предаются самообману извращенного чувства. Им невдомек, что до тех пор, пока социализм, хоть и утопический, не победит хотя бы в отдельно взятой империи... – ну и так далее.

*«– Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами...»*

*– Я вас как свет Господень любил, как дочку родную любил, я все в вас любил, маточка родная моя! и сам для вас только жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде дружеских писем, все оттого, что вы, маточка, здесь напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это все было именно так!*

*– Ведь я все видела, я ведь знала, как вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего...»*

Совершенно как живые. Подумать только, что связь эта – литературный прием, не менее условный, чем если бы автор заставил пресловутого Акакия Башмачкина беседовать в бреду с украденной шинелью.

Судя по первым ходам, переписка приблизительно так и замышлялась. Эпиграф это подтверждает. Он взят из новеллы князя Владимира Одоевского «Живой мертвец».

Новелла – монолог человека, которому ночью приснилось, что он проснулся после смерти, приключившейся этой ночью. (Такой уж писатель – Владимир Одоевский: выдумка блестящая, многозначительная, – но исполнение чаще посредственное; впрочем, бездушно-отрывистые интонации этого монолога запоминаются: Достоевский использовал их – да и весь сюжет – много лет спустя, в рассказе «Бобок».) Умер, стало быть, человек, некий Василий Кузьмич. Покинул тело. И смотрит на свой труп, распростертый на постели, откуда-то со стороны (и немного сверху, надо думать: вероятно, и Тютчева эта новелла поразила; нетрудно доказать, что и сам Гоголь кой-чем из нее позаимствовался, и Некрасов, – но это к слову). Умер – и удивлен: ничего страшного, центр вселенной, называемый Василием Кузьмичом, продолжает существовать, только поменял местопребывание; быть невидимым – обидно на первых порах, но зато бесплотный Василий Кузьмич перемещается в пространстве мгновенно и беспрепятственно; к тому же теперь он, так сказать, неуязвим; и речью наделен по-прежнему – правда, слышной только ему – и читателям.

А при жизни был этот Василий Кузьмич средней руки чиновник, в меру подлый: взяточник, интриган и прочее. Само собой разумеется, что ни родственники, ни сослуживцы, ни любовницы не убиты потерей, в чем раздосадованному герою нынешний его статус вездесущего соглядатая позволяет с легкостью убедиться.

Но сюжет Одоевского нацелен гораздо дальше. Бессовестные поступки, совершенные Василием Кузьмичом при жизни, своеобразные распоряжения по службе, внушенные им циничные мысли, поданные им дурные примеры – все это вдруг на его глазах невероятно быстро начинает прорастать бесчисленными ужасными последствиями: вот развращенный его наставлениями старший сын отравил младшего из-за денег; вот обобранная им племянница вовлечена в разбойничью шайку, схвачена полицией, сходит с ума в тюрьме; а главарь той шайки – бывший камердинер Василия Кузьмича, от него научившийся «разным залихватским штучкам»... Повсюду в городе, в стране, в целом мире – в каждом несчастии, в каждом злодеянии обнаруживается прикосновенность, причастность, вина Василия Кузьмича; и оказывается, что сознавать это – пытка погорше адской.

*«Нет сил больше! уж где я только не таскался! кругом земного шара облетел! и где только ни прикорну к земле – везде меня поминают... Странно! Ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочкою, не умничал, не лез из кожи, и ровно ничего не делал, – а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это зацепляется одно за другое!..»*

В том-то и дело. Проклятиями людей, дурной посмертной славой можно еще пренебречь. Но когда уму раскрыта взаимосвязь всех человеческих судеб и поступков, и очевидно сцепление всех причин со всеми следствиями, – от невыносимого понимания собственной вины, от оценки личной доли в сумме мирового зла некуда деться.

И ненасытное чудовище – Совесть – овладевает этой бедной, мелкой душой, непрерывно ее истязая. Теперь единственная – неисполнимая, вот ужас! – мечта бывшего Василия Кузьмича

– исчезнуть совсем, потерять сознание навеки. Но это невозможно – как невозможно исправить хоть строчку, написанную при жизни, взять назад хоть слово, ненароком брошенное...

«Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнул через этот порог – и все прошедшее невозвратно. Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову?» – в лютой тоске недоумевает Василий Кузьмич – и просыпается по-настоящему, живой вполне, в своей квартире, в своей кровати.

Просыпается, припоминает ужасающий сон – и раздражается негодующей тирадой по адресу автора «какой-то фантастической сказки», прочитанной накануне, на ночь. Эту-то тираду мы и читаем теперь в эпиграфе к роману «Бедные люди»:

«Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься – а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить...»

Спрашивается: какое касательство имеют эти слова к совершенно правдоподобной жанровой картинке в духе натуральной школы («Бедные люди», мы видели, аттестованы по этому разряду)?

А между тем в тексте романа отгиснут слепок интонации эпиграфа – именно там, где Девушкин возмущается повестью «Шинель»:

*«И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил... а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться...»*

Не позволительно ли предположить, что эта линия осталась от самого первого наброска? что роман обдумывался вначале как история о человеке, который, разглядев случайно свою сущность в магическом кристалле, ничему не поверил, ничего не понял, только впал в нелепый, бессильный гнев? Как история бунта: Башмачкин восстает на Гоголя; как трагипародия, что ли.

Ведь и за Башмачкиным замечены некие микроскопические безумства: ишь как загляделся на фривольную картинку в окошке магазина («Почему он усмехнулся? потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье...»); а после двух бокалов шампанского «даже побежал было вдруг, неизвестно почему, за какую-то дамою, которая, как молния, прошла мимо, и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения»...

Так вот, не воображен ли был некогда сюжет «Бедных людей» как превращенная – обращенная против героя (и автора) «Шинели» – метафора из самой этой повести:

«С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, – и подруга эта была не кто другая, как та же шинель, на толстой вате, на крепкой подкладке без износу».

Это – Гоголь о Башмачкине. А вот – Девушкин о Вареньке и о себе:

*«Ведь вот как же это странно, маточка, что мы теперь так с вами живем. Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил Господь!.. Никогда со мной не бывало такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь. Во-первых, живу вдвойне, потому что и вы тоже живете весьма близко от меня и на утеху мне; а во-вторых, пригласил меня на чай один жилец...»*

Загляните еще в «Петербургские сновидения в стихах и прозе» – там Достоевский от первого лица, как интимное воспоминание, рассказывает про какую-то Надю: как в ранней молодости, в отчаянной бедности он будто бы читал ей Шиллера, «Коварство и любовь», а потом она вышла «вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу», а всего-то имущества и было у чиновника-жениха – «только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки», – вот после замужества этой Нади, оставшись один, якобы и задумался впервые Достоевский о будущем романе...

Он затеял его, по собственному признанию (в одном письме, кажется) как тяжбу со всей литературой – и прежде всего ополчился на повесть «Шинель». Он подарил умственно отсталому

герою Гоголя живую девушку взамен суконной тряпки – для того, наверное, чтобы доказать: способность чувствовать голод, холод и страх еще не делает человеком переписывающее существо, самоходное копировальное устройство... Казалось, ничего не стоило таким способом разоблачить Башмачкина – или того, безымянного, с шишкой на носу – как пародию на человека, но...

Но, как уже сказано, сначала Варенька слегла в простудной горячке, и Девушкину пришлось продать вицмундир; потом квартирная хозяйка потребовала уплаты долга; другие кредиторы набежали; офицер какой-то разлетелся к Вареньке с бесстыдным предложением; а там и его дядюшка с тем же пожаловал; и руку она обожгла утюгом; и счет пошел уже на последние дву-гривенные; и во всем этом водовороте ежедневных унижительных бедствий Девушкин хоть и запыл было, – а все-таки выказал (неожиданно, быть может, для сочинителя) столько храбрости, упрямства и любви, что мотив «Шинели» (хоть бы и наизнанку) как бы сам собой сбился на горестную тему «Станционного смотрителя», причем герой исполняет попеременно две партии – ротмистра Минского (понарошку) и Самсона Вырина (всерьез).

И эпиграф из Одовеского переменяет значение. Он, во-первых, дает основную тональность, напоминая об исходной точке замысла. Во-вторых же, по-видимому, отсылает читателя к другому эпиграфу, коим снабжена сама новелла «Живой мертвец»:

«...Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым по-видимому незначащим поступком, с каждым движением души человека...»

Упрек ли это герою и героине «Бедных людей» – за то, что расстались, – или тем, кто вынудил их расстаться либо был виновником остальных бедствий, – в любом случае смысл эпиграфа движется от гоголевского: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» – к толстовскому – библейскому: «Мне отмщение, и Аз воздам».

А в глубине романа отрастает – с каждой страницей все явственней – другой, потайной эпиграф и еще одним отражением освещает суть сюжета.

Самая, быть может, замечательная – в рассуждении блеска прозы – страница: Девушкин в кабинете Его Превосходительства нагибается за отлетевшей пуговицей. Кто только не восхищался обличительным гуманизмом, продуманно-мучительным темпом этой мизансцены. Никто не оценил многоплановую – **что** ваш Джойс! – глубину фразы:

*«Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку...»*

Похоже, что для всех и всегда этот период был и остается простым сообщением, что у бедного Макара Алексеевича от волнения и физического усилия, что называется, зашумело в голове.

Но вдумаясь же – какой это странный шум!

Быт в квартире, где проживает Девушкин, по существу – коммунальный, но хозяйка держит прислугу – двоих, как это говорилось, людей: женщину по имени Тереза и мужчину по прозвищу Фальдони.

*«Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут»,* – рассказывал еще в начале романа Макар Алексеевич Вареньке.

Происхождение странной для угрофинна клички вполне разъясняется в комментариях к академическому изданию: должно быть, просвещенные квартиранты в свое время прочли популярный переводной (с французского) роман Н. Ж. Леонара «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живших в Лионе». Роман выдержал в России по крайней мере три издания (комментаторы указывают два), так что какой-нибудь остроумный отставной мичман, услышав, что служанку зовут Терезой... словом, понятно.

И вот эти два имени, чередуясь, позвякивают в переписке бедняков, живущих в Петербурге, – обозначая самых обыкновенных, второстепенных персонажей: то Варенька даст Терезе двадцать копеек, то Фальдони наругает Макару Алексеевичу.

С какой же стати воспоминание о них пробегает в мыслях Девушкина, пока он копошится у ног начальника? Неужто действительно – ни с того ни с сего?

Роман Леонара ему неизвестен. До знакомства с Варенькой наш герой прочитал – вы, конечно, помните – лишь три произведения словесности: «Ивиковы журавли», балладу Шиллера (из нее-то, несомненно, и почерпнув знание о справедливости); еще «Картину человека», умное сочинение Галича – в самом деле очень недурной учебник человековедения, – 613 параграфов:

что такое гордость, что такое мнительность и чем *страсть полая* – *любовь* отличается от *страстей одинокого быта*, или *чисто животного самолюбия* и т. д. Маловероятно, что М. А. одолел всю книгу, вплоть до какой-нибудь *семиотики телесной*, – но кто же, если не Галич, укрепил его в мысли, что для настоящего человека наивысшим благом является *досточтимость* (А. С. Пушкин, слушатель первых лекций Галича, перевел бы: честь; ну, а у Девушкина через каждые два слова на третье: амбиция)?

Читывал он и роман – тоже переводной, тоже с французского: «Мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиками» Дюкре-Дюмениля – и, должно быть, оттого с таким сочувственным интересом заглядывает в кареты знатных дам, проезжающих по Гороховой улице. В авантюрном этом романе бедный подкидыш, уличный музыкант, *маленький курантчик*, вызвав тайну своего происхождения и сделавшись в четвертом томе графом и богачом, на самой последней странице – «приказал высечь на фронтоне павилиона, во внутренности своего Замка, сии слова:

И теперь еще раздается в ушах приятный звук наших курантов».

Не этот ли перезвон слышен Девушкину в самую нелепую и жалкую минуту карьеры?

Но при чем Тереза и Фальдони, квартирная прислуга?

Не щегольство ли тут литературное: смотрите, мол, как тонко подмечено, что человек в крайне затруднительном положении думает о самых отдаленных, совсем ненужных предметах?

«Италианец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приближался тот щастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их щастия...»

Так повествует Карамзин в «Записках русского путешественника» будто бы о действительном происшествии, случившемся в городе Лионе «лет за двадцать перед сим».

В последний момент отец Терезы передумал – отказал жениху, по какой-то там важной причине. И тогда влюбленные решились на совместное самоубийство: встретились за городом, в каштановой роще, «приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга – поцеловались – и сей огненный поцелуй был знаком смерти – выстрел раздался – они упали, обнимая друг друга...».

Приготовьтесь, читатель, еще к одной пространной выписке; я, в конце концов, не виноват, что старинные авторы бывали настолько красноречивы. Следующий пассаж многое объясняет, мне кажется, в «Бедных людях» – и в других созданиях русской литературы:

«Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества; но одне заставляют меня плакать, другия возмущают дух мой. Естли бы Тереза не любила, или перестала любить Фальдони; или естли бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все щастие, всю прелесть жизни его: тогда бы мог он возненавидеть жизнь; тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества; я вошел бы в чувства несчастного, и с приятными слезами нежного сожаления взглянул бы на небо, без роптания, в тихой меланхолии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга: и так им надлежало почитать себя щастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом; озарялись лучами одного солнца, одной луны – чего более? Истинная любовь может наслаждаться и без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ея за отдаленными морями скрывается...»

И еще два периода в том же духе. Причем к словам: «чего более?» Карамзин дает в сноске примечание: «Кто хочет, рассмеется».

Этот-то отрывок – с примечанием в придачу – я и назвал бы потайным эпиграфом «Бедных людей».

Если бы Достоевский думал, что в его романе никто никого не любит – например, хоть по вышеобъявленной причине: мол, в данной негодной социальной структуре некому и некого любить, – вся эта игра имен была бы пустой, никчемной, недоброй забавой. По-моему, это не так.

Возможно – более чем возможно, – что чувство, будто мир испорчен, изгажен чьей-то невообразимо огромной, беспощадно насмешливой волей, – не оставляло его.

Но, перечитывая первый его роман, трудно отказаться от мысли, что это – сочинение троих Д: Достоевского, Девушкина, Доброселовой; что в нем происходят среди прочих и такие события, которых Достоевский заранее не предвидел.

Можно ли было, скажем, предусмотреть – ведь другие романы Достоевского не были еще написаны, – что с конца июля, как раз когда раскроется обман и мнимое благополучие рухнет, – что с этого самого времени у героя и у героини переменятся голоса и чуть ли не роли, да как: Макар Алексеевич, вместо того чтобы поникнуть от вины и стыда, закуражится и закапризничает, – а в письмах Вареньки вместо отчаяния и обиды зазвенит такая жаркая тревога и жалость к старому безумцу – никакого сравнения с прежней грустной дружбой – прекрасный собою италиянец Фальдони позавидовал бы...

Так что не вовсе случайно развязка романа – возвращаемся к ней напоследок – напоминает решение лионских любовников.

Но точно ли бедность, одна только проклятая бедность всему причиной? То есть должно ли так понимать, что и Девушкин, и Варенька, в уверенности, что вдвоем не спастись, оба одновременно отталкиваются от слишком углого для двоих плотика, захлестываемого судьбой, – чтобы не лишиться другого ничтожной, ненужной, но единственной возможности выплыть?

Бедность и впрямь ужасна, бедность сжигает, как кислотой, какую угодно любовь, – так прочитал, например, «Бедных людей» молодой чиновник Салтыков и написал вслед повесть «Запутанное дело», в которой петербургский бедняк видит во сне, как женился на своей Наденьке, и вот уже ребенок у них умирает голодный, и она уходит из дому – продать себя богатому старику, чтобы только раздобыть денег – на гробик ребенку и ужин отцу, – впрочем, это уже Некрасов, тоже год 1847-й.

Но похоже, что и еще какой-то призрак держит Макара Алексеевича в оцепенении, заставляет разжать руки.

В девятнадцатом веке это было очевидно – оттого тогдашние критики и принимали молча развязку романа как наилучшую из возможных.

Они-то догадывались, отчего, как унижительную тайну, прячет Макар Алексеевич от соседей по дому свою с Варенькой связь.

И почему никак не отвечает на Варенькины слова, что никто, кроме г-на Быкова, не возвратит ей честное имя.

По-видимому, в сороковых годах прошедшего столетия жениться, как Мармеладов, на вдове с тремя детьми, хоть бы и нищей, все еще казалось несравненно легче, чем взять за себя, как Покровский-старший, любовницу – жертву – так или иначе, наложницу – г-на Быкова.

И дело даже не в том, что Макар Алексеевич у нас – какой-никакой, а все-таки дворянин (выйди в свое время крестик – стал бы и потомственным, совершенно настоящим, никого не хуже... «ну да уж что!»), и не забывает при случае вернуть словцо «в своем смысле, в благородном, в дворянском-то отношении»...

Дворянство, быть может, и вздор, а вот Шиллер не вздор, «Коварство и любовь» не вздор:

«Как я посмотрю в глаза последнему ремесленнику, который, по крайней мере, получает в приданое за женой ее тело на правах единственного обладателя? Как я буду смотреть людям в глаза? В глаза герцогу? Самой герцогской наложнице, которая желает отмыть пятно на своей чести в моем позоре?»

Как это в последней советской монографии – амбициозная психология? испорчен логикой социальной структуры? – вот-вот. Почти не имеет понятия ни о Шиллере, ни о Бомарше, – а ведет себя так, словно слышан откуда-то, что борьба за права человека начиналась в литературе с борьбы за право первой ночи. Невольник амбиции.

(Кстати: нечто очень похожее на «Коварство и любовь» мелькнет в сюжете «Идиота»...)

Смирись, бедный человек, то есть восстань против мнений света: будь счастлив; говоря стихами из ада – плюй на все и торжествуй, переписывающее существо! – Не желает.

Любовь и честь, или Бедные люди...

«Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное», – говорит литератор Ратазиев одному из двойников Девушкина – чиновнику Горшкову – и треплет его по плечу. Это тот самый Горшков, которому совсем недавно, не устояв перед униженной мольбой, Макар Алексеевич отдал свой последний гривенник. А теперь он, видите ли, оправдан в чем-то там по суду и вознагражден знатной суммой. И слова Ратазиева ему не нравятся.

«...То есть не то чтобы прямо неудовольствие высказал, – возбужденно рассказывает Девушкин Вареньке, – а только посмотрел как-то странно на Ратазиева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! – добавляет он. – Впрочем, различные бывают характеры...»

Почти все мы читаем «Бедных людей» не более чем дважды за жизнь, причем второй раз – как правило, поздно. В промежутке сохраняем уверенность, что смысл нам внятен: совпадает с названием. Быть может, так и есть. Но в названии недостает какого-то знака – то ли восклицательного, то ли многоточия: ведь это вздох.

*Постскриптум.*

Полузабыт или недочитан, а все же в глубине русского литературного сознания этот роман светится постоянно.

Вот стихотворение Пастернака «Разлука»:

С порога смотрит человек,  
Не узнавая дома.  
Ее отъезд был как побег,  
Везде следы разгрома...

Пропускаю несколько строф.

...И вот теперь ее отъезд,  
Насильственный, быть может.  
Разлука их обоих съест,  
Тоска с костями сгложет...

Последние строчки:

Он бродит, и до темноты  
Укладывает в ящик  
Раскиданные лоскуты  
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье  
С невынутой иглой,  
Внезапно видит всю ее...

Что это, по-вашему? Лара уехала от Юрия Живаго? Ивинскую арестовали? Да, разумеется, и то, и другое. Но и вот еще что:

*«Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно осматривал. Там, как были ваши пялечки, а на них шитье, так они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмецо мое вы ниточки начали было наматывать. В столике нашел бумажки листочек, а на бумажке написано: «Милостивый государь, Макар Алексеевич, спешу» – и только. Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кровать стоит... Голубчик вы мой!!!»*

Так у Достоевского: три восклицательных знака.

...И плачет втихомолку.